



О.Ю.Малинова
**КОММЕМОРАЦИЯ
 ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
 КАК ИНСТРУМЕНТ
 СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ:
 ВОЗМОЖНОСТИ
 СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА¹**

Ключевые слова: символическая политика, политика памяти, коммеморация исторического события, социально-культурная инфраструктура памяти, мнемонические акторы

¹ Исследование выполнено на базе Института научной информации по общественным наукам РАН при поддержке Российского научного фонда (проект №17-18-01589).

² Bell 2003: 69.

³ Olick 2007.

Общепринятые представления о прошлом являются одной из главных опор идентичности современных политических сообществ. То, что иногда называют «публичной» историей, в отличие от истории «формальной» или «профессиональной», i.e. репрезентации и интерпретации прошлого, адресованные широкой аудитории неспециалистов, оказывает существенное влияние на формирование представлений о «нас» и мобилизацию групповой солидарности. Прошлое служит строительным материалом для конструирования разных типов социальных идентичностей, однако особое значение оно имеет для воображения наций. Большинство исследователей национализма согласятся с утверждением Дэниела Белла: «Чтобы сформировать... чувство единства с другими людьми, принадлежащими к той же нации, необходимо, чтобы индивид мог отождествлять себя с разворачивающимся во времени нарративом», в котором нации «отводится центральная и позитивная роль»². Однако в XXI в. такие нарративы встречают конкуренцию не только со стороны других групп, претендующих на статус наций и отстаивающих собственные версии «общей» истории, но и со стороны тех, кто предлагает сфокусироваться на темах коллективной травмы, вины и покаяния. Американский социолог Джеффри Олик называет такой принцип обращения с прошлым «политикой сожаления»³.

Хотя склонность рассматривать прошлое как важный ресурс, который необходимо держать под контролем, может считаться константой современной политики, нельзя не признать, что в конце XX в. практики обращения с этим ресурсом претерпели заметную эволюцию. Главные причины изменений следует искать в самой истории прошедшего столетия, трагические события которой — войны невиданного прежде масштаба, революции, перевороты, перекраивания государственных границ, массовые убийства и этнические чистки — затронули миллионы

простых людей. Новейшая история стала значимой частью их личного опыта. Вместе с тем «историзация» массового сознания способствовали и многие новации XX в. С распространением обязательного образования систематизированное знание о прошлом превратилось в неотъемлемую составляющую социализации индивидов. Появление технологий сохранения и передачи видеoinформации — фотографии, кинематографа, телевидения — позволило «визуализировать» историю, помогая зрителям ощутить себя виртуальными участниками событий⁴. Не менее существенны и последствия внедрения новейших информационных технологий. По словам американского социолога Яна-Вернера Мюллера, обусловленный ими фундаментальный переворот в «мнемонических технологиях» «по своему значению, возможно, равен изобретению печатного станка и угасанию устной памяти... после эпохи Возрождения»⁵. К этому нужно добавить активное развитие социально-культурной инфраструктуры памяти (термин канадской исследовательницы Ивоны Ирвин-Зарецкой), побуждающей индивидов «вспоминать» коллективное прошлое. Все это меняет отношение к истории. Неудивительно, что вопросы, связанные с интерпретацией ключевых исторических событий, оказались в XX в. среди «фундаментальных проблем», вокруг которых легко разворачиваются публичные дебаты (в том числе и потому, что, как справедливо отмечает Давид Арт, применительно к подобным вопросам «не требуется особой подготовки, чтобы сформировать собственное мнение»⁶).

Благодаря этому прошлое становится символическим ресурсом, с которым работают не только профессиональные историки, но и политики и общественные активисты. Отстаивая собственные версии «памяти» об исторических фигурах и событиях, они выступают в роли *мнемонических акторов*⁷. При этом одно и то же прошлое служит строительным материалом для идентичностей разных групп, что превращает область публичной истории в поле бесконечных символических конфликтов. «Историзация» массового сознания, плюрализм памятей, обусловленный различиями в опыте и восприятии, и неизбежная в такой ситуации конкуренция мнемонических акторов делают прошлое предметом политики. И хотя конфигурация причин, актуализирующих прошлое в качестве политического ресурса, в каждой стране особая, явление, которое именуют «политикой памяти» / «исторической политикой» / «политическим использованием прошлого», в начале XXI в. получило практически повсеместное распространение.

Данное обстоятельство открывает широкий простор для сравнительных исследований, нацеленных на типологизацию политик памяти в различных контекстах, выявление факторов, определяющих успех или неудачу таких политик, изучение стратегий, реализуемых отдельными акторами, уяснение «пределов возможного» в этой сфере и т.п. Практикам использования прошлого в политических целях уделяется немало внимания в рамках *memory studies* — междисциплинарной области исследований, сложившейся в последние 10—15 лет. Но несмотря на быстрое увеличение количества работ, описывающих и анализирующих подобные

⁴ См. Heisler 2008: 19; Kattago 2009: 381.

⁵ Müller 2002: 12.

⁶ Art 2006: 3.

⁷ Термин, введенный Майклом Бернхартом и Яном Кубиком для обозначения «политических сил, заинтересованных в особом понимании прошлого» (Bernhard, Kubik (eds.) 2014: 4).

практики, о существенном прогрессе в фиксации эмпирических закономерностей пока говорить не приходится: в литературе преобладают исследования, посвященные конкретным случаям; сравнительные и обобщающие эмпирические работы редки. Правда, нет недостатка в спекулятивных «теориях», построенных на произвольных рядах примеров, однако они легко опровергаются другими «теориями» того же рода.

Это подтверждает потребность в развитии теоретико-методологического инструментария изучения политики памяти, в том числе в разработке системы понятий, которые могли бы быть использованы для описания и сравнения такой политики в разных контекстах. Отвечая на эту потребность, в настоящей статье я сосредоточусь на проблемах сравнительного исследования одной из наиболее важных практик политики памяти — публичной коммеморации исторических фигур и событий. Опираясь на существующую литературу, я рассмотрю основные подходы к анализу коммемораций и предложу методику изучения данного процесса как инструмента символической политики. Эта методика предполагает сочетание анализа политических стратегий, реализуемых мнемоническими акторами, со сравнительным исследованием продвигаемых ими исторических нарративов и оценкой потенциального влияния их действий на трансформацию социально-культурной инфраструктуры памяти о коммеморируемом событии.

Коммеморация исторического события: теоретическая рамка для анализа

Даже при беглом знакомстве с литературой по *memory studies* бросается в глаза обилие конкурирующих понятий, обозначающих если не идентичные, то весьма сходные явления и процессы: «историческая политика»⁸, «политика прошлого»⁹, «политика памяти»¹⁰, «коллективная/общественная память»¹¹, «историческая память»¹², «политическое использование истории»¹³, «режим памяти»¹⁴, «культура памяти»¹⁵, «игры памяти»¹⁶ и др. При этом выятные конвенции относительно содержания перечисленных терминов отсутствуют. Поэтому прежде чем приступать к построению теоретической рамки для анализа коммеморации как политической практики, следует уточнить систему смежных понятий.

Политика работает не с прошлым (ибо это то, чего больше нет), а с *социальными представлениями о прошлом*. Причем она имеет дело не столько с *историей* — систематической реконструкцией прошлого, основанной на критическом отборе, — сколько с тем, что принято называть *коллективной памятью*, то есть с социально разделяемым культурным знанием о прошлом, которое опирается на разные источники и отличается принципиальной неполнотой и избирательностью. Нередко утверждают, что коллективная память оперирует *мифами* — упрощенными и эмоционально окрашенными нарративами, которые сводят сложные и противоречивые исторические процессы к удобным для восприятия простым схемам и воспринимаются членами группы как нечто бесспорное. Однако, на мой взгляд, точнее говорить об *актуализированном прошлом* (по-английски — *usable past*)

⁸ Heisler 2008; Torsii 2008; Миллер 2012.

⁹ Art 2006.

¹⁰ Коносов 2012; Ачкасов 2013; Bernhard, Kubik (eds.) 2014.

¹¹ Smith 2002; Müller 2002; Wertsch 2008; Mälksoo 2009.

¹² Boyd 2008; Winter 2008.

¹³ Kangaspuro 2011.

¹⁴ Langenbacher 2010; Bernhard, Kubik (eds.) 2014.

¹⁵ Никженнтайтис 2012; Журженко 2013.

¹⁶ Mink, Neumayer (eds.) 2014.

как о своеобразном репертуаре исторических событий, фигур и символов, которые наделяются смыслами, в той или иной мере значимыми для современных политических и культурных практик. Ядро этого репертуара образуют уже состоявшиеся мифы, периферия же включает в себя пестрый набор не столь самоочевидных, но тем не менее узнаваемых смысловых конструкций.

Продвигая или поддерживая определенные интерпретации коллективного прошлого, представители властвующей элиты преследуют политические цели, которые не всегда подчинены задаче формирования той или иной концепции прошлого: они стремятся легитимировать собственную власть, укрепить солидарность сообщества, оправдать принимаемые решения, мобилизовать электоральную поддержку, продемонстрировать несостоятельность оппонентов и проч. По этой причине термины «историческая политика» и «политика памяти» не всегда подходят для описания практики *политического использования прошлого*. Последнее понятие шире предыдущих, оно описывает любые практики обращения к прошлому в политическом контексте вне зависимости от того, складываются ли они в последовательную стратегию.

Термин «историческая политика» возник как категория политической практики — сначала в 1980-х годах в ФРГ, затем в 2000-х годах в Польше; он обозначает определенный тип политики, использующей прошлое. По определению Алексея Миллера, *историческая политика* — это особая конфигурация методов, предполагающая «использование государственных административных и финансовых ресурсов в сфере истории и политики памяти в интересах правящей элиты»¹⁷. Интерпретируемая таким образом историческая политика оказывается частным случаем *политики памяти*, которую я предлагаю трактовать как деятельность государства и других акторов, направленную на утверждение тех или иных представлений о коллективном прошлом и формирование поддерживающей их культурной инфраструктуры, образовательной политики, а в некоторых случаях — и законодательного регулирования. Все три феномена — политическое использование прошлого, политика памяти и историческая политика — могут рассматриваться как проявления *символической политики*, то есть публичной деятельности, связанной с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование в публичном пространстве (см. рис. 1). Эту область символической политики по праву можно считать одной из основных, ибо, как точно заметил Пьер Бурдьё, для внедрения новых представлений о строении социальной реальности «самыми типичными стратегиями... являются те, которые нацелены на ретроспективную реконструкцию прошлого, применяясь к потребностям настоящего, или на конструирование будущего через творческое предвидение, предназначенное ограничить всегда открытый смысл настоящего»¹⁸.

¹⁷ Миллер 2012: 19.

¹⁸ Бурдьё 2007: 79.

Рисунок 1 Соотношение основных понятий



Под *коммеморацией* исторических фигур или событий я понимаю совокупность публичных актов их «вспоминания» и (пере)осмысления в современном контексте. Коммеморация может иметь разную смысловую модальность: она не обязательно является актом торжества, предполагающим отмечание / празднование; она также может служить актом скорби / почитания памяти мертвых. Этим обусловлено заимствование иноязычного термина: в русском языке нет общего понятия для обозначения разных модальностей коллективного «вспоминания» прошлого. Во всех случаях публичное напоминание вписывает прошлое в контекст настоящего (актуализирует его) и тем самым подтверждает ответственность группы во времени.

По справедливому замечанию Бернхарда и Кубика, «вспоминание прошлого, особенно коллективное, — это всегда политический процесс»¹⁹. Коммеморация может быть инструментом *политики памяти* — или *исторической политики*, если стратегии властвующей элиты отвечают выделенным выше признакам. Вместе с тем она всегда служит поводом для *политического использования прошлого* (в том числе ситуативного, не опирающегося на очевидную стратегию). Кроме того, поскольку в любом современном обществе, обладающем некоторой свободой выражения мнений, актуализированное прошлое является предметом дискуссий, коллективное «вспоминание» исторического события чаще всего выступает частью *символической политики*, то есть *конкуренции разных интерпретаций его значения в контексте современной политической повестки* (symbolic politics). При этом подготовка коммеморации на общегосударственном уровне требует увязывания исторического события с идеологическими конструкциями,

¹⁹ Bernhard, Kubik (eds.) 2014: 3.

направленными на легитимацию политического режима и проводимого им курса. Тем самым она оказывается частью *символической политики, осуществляемой от имени государства* (symbolic policy). Таким образом, данную практику можно анализировать, помещая ее в рамку всех основных понятий, описывающих политическую работу с социальными представлениями о прошлом. В настоящей статье я буду оперировать концептом символической политики как наиболее комплексным понятием, позволяющим видеть общее и особенное в действиях разных акторов, участвующих в борьбе за смыслы.

Коммеморация — это всегда процесс отбора того, что подлежит «вспоминанию» и «забвению». «Вспоминается» то, что кажется важным с позиций настоящего. «Забываются» детали и случайности (вернее, то, что воспринимается в качестве таковых). Логика «вспоминания» и «забвения» учитывает не только «правду» исторических фактов, но и связанные с ними эмоции. По заключению Титуса Энсинка и Кристофа Соэра, «забвению, в частности, предаются тогдашние чувства — ненависть, ресентимент, вина, триумф или реванш, — наполняющие индивидуальную или коллективную память сильными эмоциями и не оставляющие места для других тем памяти», если они «более не представляются полезными»²⁰. Однако установки мнемонических акторов на этот счет могут не совпадать, что создает дополнительные основания для конфликтов «памятей».

²⁰ *Ensink, Sauer (eds.) 2003: 7.*

Коммеморация исторического события опирается на сложившуюся *социально-культурную инфраструктуру памяти* и вместе с тем предполагает ее достраивание. Как отмечает Ирвин-Зарецкая, «вспоминание имеет собственную инфраструктуру; часть ее используется постоянно, часть может простаивать в течение долгого времени»²¹. Элементами такой инфраструктуры выступают памятники, музеи и мемориальные комплексы, государственные праздники, публичные ритуалы, топонимия пространства, произведения литературы и искусства, знаки, символизирующие солидарность (ленты, цветы и проч.). Все это является для мнемонических акторов символическими ресурсами, но одновременно может порождать ограничения, особенно если предлагаемая ими интерпретация события существенно отличается от устоявшейся.

²¹ *Irwin-Zarecka 1994: 90.*

Публичное «вспоминание» прошлого в значительной мере подчинено календарной логике. Это особенно очевидно в случае таких его форм, как праздники и юбилеи. *Праздники*, учреждаемые в честь наиболее важных исторических событий, служат ежегодными напоминаниями о них. Они способствуют формированию особых практик празднования, публичных и приватных²². Самые устойчивые из них становятся *ритуалами* (согласно Дэвиду Кертцеру, таковыми следует считать социально стандартизированные и повторяющиеся символические действия²³). Существует определенный набор ритуалов памяти, используемых в разных контекстах (возложение цветов и венков, вынос / поднятие флага, зажжение огня, факельные шествия, салюты и фейерверки, публичное чтение списков погибших и т.п.). Наличие

²² *Ефремова 2014.*

²³ *Kertzer 1988: 9.*

²⁴ *Ibid.*: 10—11.

привычных ритуалов в какой-то мере можно рассматривать как показатель укорененности праздника. Включая индивидов в коллективное действие, ритуалы способны оказывать на них сильное эмоциональное воздействие²⁴. Благодаря своей стандартизованности и повторяемости они выступают надежным инструментом социализации. С течением времени праздничный репертуар требует обновления. По мнению Энсинка и Соэра, консервативные ритуалы публичного «вспоминания» больше удовлетворяют запросам старших поколений, связанных с коммеморируемым событием личной памятью. Более молодые поколения нуждаются в культурных репрезентациях, позволяющих устанавливать эмоциональные связи с прошлым²⁵.

²⁵ *Ensink, Sauer (eds.) 2003: 10—11.*

К наиболее важным поводам для коммеморации принято относить «*круглые даты*» — десятилетия, фазы, кратные четверти/половине века, столетия. Символизируя дистанцию, отделяющую нас от исторического события, юбилеи «приглашают» к подтверждению его связи с настоящим.

Календарная логика коммемораций не всегда соответствует политической целесообразности: праздники и юбилеи порой актуализируют событие, которое игроки мнемонического поля предпочли бы не вспоминать. Однако магия цифр священна, и сегодня мы имеем интересный эмпирический ряд для анализа того, как политические элиты справляются с неудобными, но неизбежными юбилеями. Мы вступили в череду сотых годовщин трагических и поворотных событий начала XX в. — Первой мировой войны, революций, гражданских войн, движений за независимость и т.п. в разных странах мира. Исследования участников симпозиума, организованного Австралийским журналом политической науки, выявили примечательные расхождения в коммеморации столетия Первой мировой войны в странах, развивавших инфраструктуру памяти об этом событии, и тех, где оно по тем или иным причинам не стало или прекратило быть предметом регулярного коллективного «вспоминания». Реактуализация памяти о «победе в скорби» / забытом конфликте / былом поражении создает немало сложностей²⁶. Однако и там, где такая память бережно поддерживалась, например в Великобритании, официальный посыл: «Служить своей стране и умирать за нее — это правильно» — на фоне военных кампаний в Ираке и Афганистане вызывает дискуссии²⁷. Еще более острый конфликт разворачивается по поводу столетия событий, спровоцированных войной, — восстания против британского правления (1916 г.), войны за независимость (1919—1920 гг.) и гражданской войны (1922—1923 гг.) в Северной Ирландии, особенно на фоне Brexit'a. Там же, где история Первой мировой войны связана с обретением независимости и мифами о национальном характере (как в случае Австралии и отчасти Канады), юбилейные торжества прошли с широким размахом²⁸.

²⁶ *См. Fathi 2015; Bayer 2015.*

²⁷ *См. Jeffery 2015.*

²⁸ *См. Beaumont 2015; Craig 2015: 569—570.*

В ряд «неудобных юбилеев» вписывается и столетие революции(й) 1917 г. в России: в логике современного официального исторического

нарратива, опирающегося на принцип преемственности «тысячелетнего» великого Российского государства, случившееся сто лет назад скорее досадный срыв, нежели повод для национальной гордости. В то же время для значительной части граждан, а также для некоторых мнемонических акторов это по-прежнему великое событие, которое требует публичного «вспоминания» на общегосударственном уровне. В этой ситуации государство отказалось от прямого участия в организации юбилейных мероприятий, препоручив ее Российскому историческому обществу. В качестве официальной темы коммеморации было выбрано «примирение и согласие» потомков «красных» и «белых», а ее кульминацией, по-видимому, планировалось сделать открытие 4 ноября 2017 г. в Крыму памятника Примирению²⁹. Впрочем, на момент написания статьи перспективы осуществления этого плана выглядят сомнительными, поскольку проект вызвал протесты общественности в Севастополе, где в конечном счете решено установить памятник (первоначальный вариант установки его в Керчи оказался нереализуемым из-за строительства моста через Керченский пролив). Севастопольское отделение движения «Суть времени» подало иск против действий местных властей, приступивших к работе по установке памятника без проведения публичных слушаний. Судебные заседания по делу начались 4 октября, за месяц до предполагаемого открытия памятника³⁰. И даже если по итогам суда решение о строительстве памятника Единству России (так его предложили называть севастопольские власти) останется в силе, едва ли его торжественное открытие сможет состояться 4 ноября 2017 г.

²⁹ См. Малинова 2017.

³⁰ <http://ruinformers.com/page/pamjatnik-primirenija-ne-smog-primiti-storony-v-sude>.

Однако не все формы коммеморации привязаны к календарному циклу. Открытие мемориалов и музеев, установка и демонтаж памятников, выбор названий / переименование улиц и площадей, учреждение новых праздников и памятных дней и т.п. не только способствуют трансформации социально-культурной инфраструктуры памяти, но и стимулируют коллективное «вспоминание» и (пере)оценку исторических событий. Инициативы такого рода могут быть обусловлены и сугубо прагматическими соображениями. К примеру, нередки случаи, когда депутаты Государственной Думы выступают с предложениями о внесении поправок в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», дабы напомнить о себе СМИ. Вместе с тем изменение инфраструктуры памяти — едва ли не самый важный инструмент политики памяти. Неудивительно, что перенос памятника советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне (Бронзового солдата), в Таллине, решения о создании и закрытии музея Второй мировой войны в Гданьске, недавняя установка памятников князю Владимиру в Москве и Ивану Грозному в Орле, демонтаж памятников Ленину на Украине и героям-конфедератам в США вызывают столь бурные споры. И хотя, на мой взгляд, подобные события правильнее рассматривать в более широком контексте политики памяти, их коммеморативные эффекты тоже нельзя игнорировать³¹.

³¹ См. Hite 2012.

В том же смысле роль публичного напоминания могут играть и культурные события — появление книги, фильма или спектакля, посвященных исторической теме, открытие соответствующей выставки и т.п. Александр Эткиндр проводит различие между «твердыми» (памятники) и «мягкими» (тексты) формами памяти³². Это наблюдение весьма полезно в качестве отправной точки для уяснения особенностей различных коммеморативных практик. Однако в качестве основания для классификации таких практик оно представляется мне недостаточным, поскольку не учитывает деятельностных компонентов инфраструктуры памяти — праздников, политических ритуалов, юбилейных мероприятий, памятных речей и т.п., которые вносят существенный вклад в «возвращение прошлого в настоящее»³³.

³² Эткиндр 2016: 228.

³³ Wodak, Cillia 2007: 346.

Подводя промежуточные итоги, можно утверждать, что коммеморация исторических событий и фигур должна рассматриваться как важный инструмент политики памяти и символической политики. Это политический процесс, который складывается из публичных взаимодействий мнемонических акторов, стремящихся повлиять на общественное мнение. Несмотря на то что данный процесс разворачивается в настоящем, было бы неверно интерпретировать его в духе презентизма, полагая, что образы прошлого производятся «здесь и сейчас»³⁴. Возможности мнемонических акторов во многом определяются и самим историческим материалом (продуцируемые ими нарративы должны быть правдоподобными), и конфигурацией сложившейся инфраструктуры памяти. Коммеморация может иметь различные мнемонические последствия: она не всегда становится тем, что Эткиндр называет *событием памяти*, — «актом обращения к прошлому, изменяющим... устоявшиеся культурные значения» исторических событий³⁵. Можно предположить, что такой эффект зависит не только от наличия ресурсов для символического насилия, но и от правдоподобности новых интерпретаций, их семантического соответствия установкам разных социальных групп, а также от их закрепления в инфраструктуре памяти.

³⁴ Olick 2007: 8.

³⁵ Эткиндр 2016: 228.

Как изучать коммеморации исторических событий?

С учетом вышесказанного очевидно, что коммеморации исторических событий — один из удобных для анализа моментов политики памяти. Неудивительно, что этой теме посвящено немало исследований, в том числе сравнительных.

Больше всего внимания уделяется *памятным (commemorative) речам*, для изучения которых предложены разнообразные методики. Памятные речи относятся к классу эпидейктической риторики, основной функцией которой является восхваление или порицание (в данном случае деяний прошлых поколений). Считается, что эпидейктическая риторика служит средством самопрезентации спикеров: она демонстрирует их ораторские таланты и способность эмоционально воздействовать на слушателей. По мнению Рут Водак и Рудольфа де Чиллиа, она «также имеет „воспитывающую“ функцию, то есть стремится

передать определенные политические ценности и убеждения, дабы создать общие характеристики и идентичности, сформировать консенсус и дух сообщества, который, в свою очередь, должен служить моделью для будущих политических действий адресатов»³⁶. В отличие от программных выступлений, памятные речи не ставят своей непосредственной целью легитимацию политики власти; их задачи скорее представительские: официальное лицо от имени государства воздает хвалу (или выражает порицание) группе/сообществу, соответствующим образом оценивая их деяния и качества. Подобный формат оставляет спикеру достаточно большой простор для творчества, ведь единственное, что предопределено, — это событие, которому посвящена речь³⁷. Его оценка, выбор того, что надлежит вспомнить и о чем умолчать, как выстроить связь с настоящим, остаются за теми, кто готовит речь.

³⁶ Wodak, Cillia 2007: 346—347.

³⁷ Ensink, Sauer (eds.) 2003: 29.

Памятные речи можно изучать под разными углами зрения. Например, исследование речей участников коммеморации 50-летия варшавского восстания в 1994 г., проведенное под руководством Энсинка и Соэра, обнаружило важный сдвиг в восточноевропейской политике памяти, связанный с трансформацией ялтинских границ и переопределением недавнего прошлого. Сравнительный дискурсивный анализ опирался на методику, которая предполагала учет статуса спикера (кто и каким образом представлял ту или иную страну), выявление риторических особенностей речи и описание коммуникативной процедуры. Столь подробная схема позволила зафиксировать мельчайшие нюансы позиции спикеров, определявших, что и как надлежит помнить в новом контексте³⁸.

³⁸ Ibid.: 21—34.

В методике Водак и де Чиллиа, разработанной для изучения эволюции официальных нарративов о «возрождении Второй Австрийской республики», особое внимание уделяется использованию метафор, включению/исключению в нарратив социальных акторов, дискурсивным стратегиям и их лингвистической реализации³⁹.

³⁹ Wodak, Cillia 2007.

В моем собственном исследовании основной упор был сделан на анализе тематического репертуара памятных речей президентов РФ, эволюция которого отражает изменение представлений властвующей элиты о том, какие эпизоды отечественной истории следует актуализировать для политического использования⁴⁰.

⁴⁰ Малинова 2015.

Изучение речей дает возможность выявлять особенности артикулируемых в них нарративов и рассматривать их эволюцию, а также сравнивать дискурсы мнемонических акторов, однако оно не позволяет проследивать их взаимодействие и фиксировать их влияние на представления сограждан.

Принципиально иной, акторно-ориентированный подход был предложен в сравнительном исследовании коммемораций 20-летних годовщин падения коммунистических режимов в Восточной Европе, осуществленном под руководством Бернхарда и Кубика. Его авторы сосредоточились на типах мнемонических режимов, складывавшихся применительно к коммеморируемому событию. Согласно их теории,

мнемонический режим, то есть «доминирующая модель политики памяти, которая существует в данном обществе в данный момент в отношении конкретного исторического события или процесса, имеющего важные последствия (highly consequential)», определяется конфигурацией мнемонических акторов⁴¹. В зависимости от реализуемых стратегий были выделены четыре категории акторов:

⁴¹ Bernhard, Kubik (eds.) 2014: 4, 17.

- 1) *мнемонические борцы* (mnemonic warriors) представляют свое видение прошлого как единственно верное и стремятся делегитимировать нарративы оппонентов, проводя границу «свой» — «чужой»;
- 2) *мнемонические плюралисты* (mnemonic pluralists) не только принимают как факт наличие иных интерпретаций, но и признают их право на существование; они готовы вести переговоры с оппонентами, «но в рамках соглашения об основных принципах мнемонической политики»;
- 3) *мнемонические уклонисты* (mnemonic abnegators) по тем или иным причинам избегают активного участия в реинтерпретации коммеморируемого события;
- 4) *обращенные в будущее* (prospectivists) убеждены, что разгадали загадку истории и обладают ключом к будущему; они так же агрессивны, как и «борцы», но в отличие от них действуют на основе веры в «истинность» своего знания не прошлого, а будущего. Классическим воплощением акторов этого типа являлись большевики. В современной Восточной Европе таковые обнаружены не были⁴².

⁴² Ibid.: 12—15.

По мнению Бернхарда и Кубика, наличие мнемонических борцов автоматически делает режим памяти фрагментированным, конфликтным, что в перспективе может негативно отразиться на консолидации демократии. Такими предстали режимы памяти о событиях 1989—1991 гг. в Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, странах Балтии, Украине и Словении. Единственным примером консолидированного плюралистического (pillarized) режима оказалась Чехия, где на базе общей позитивной оценки Бархатной революции 1989 г. были институционализированы разные подходы к ее коммеморации. Наконец, в Германии, Болгарии и большинстве республик бывшей Югославии были зафиксированы унифицированные режимы памяти, характеризующиеся согласием относительно содержания коммеморации. Россия не попала в число рассматриваемых стран, поскольку, с точки зрения авторов, она не отвечает критерию «минимального уровня демократии»⁴³, а также потому, что по случаю 20-летия августовского путча 1991 г. в ней не устраивалось никаких официальных мероприятий.

⁴³ Ibid.: 2.

На втором этапе исследования Бернхард и Кубик попытались выявить факторы, обусловившие формирование разных мнемонических режимов, с помощью качественного сравнительного анализа. Правда, результат оказался вполне предсказуемым: авторам удалось обнаружить общие паттерны в том, что касается политической формы мнемонических режимов, но не в культурном содержании коммемораций.

⁴⁴ Ibid.: 285.

Получилось, что «каждая страна праздновала на свой лад», поскольку решающее значение имели «главные размежевания» ее национальной культуры⁴⁴.

Именно в дефиците анализа культурного содержания коммемораций я вижу слабое место данной методики. Между тем такой анализ важен, так как эффективность усилий мнемонических акторов в немалой степени определяется свойствами предлагаемого ими «символического продукта» — его семантическим и культурным соответствием представлениям и потребностям адресных групп, его «правдоподобностью» и привлекательностью «художественного исполнения».

Для более комплексного изучения коммеморации как результата взаимодействия мнемонических акторов исследование их стратегий целесообразно дополнить сравнением конкурирующих нарративов, а также оценкой их потенциального влияния на трансформацию социально-культурной инфраструктуры памяти. Эти три элемента включены в предлагаемую мною модель анализа коммеморации (см. рис. 2).

В политическом дискурсе, как и в историографии, основным форматом репрезентации прошлого является *нарратив* — сюжетное повествование, описывающее цепь (предположительно) причинно-связанных исторических событий. Политики чаще всего оперируют свернутыми нарративами, которые отсылают аудиторию к материалу, известному по другим источникам. Соперничающие нарративы об одном и том же коллективном прошлом отличаются не только тем, как выстраиваются перспективные связи между событиями, но и тем, какие звенья исторической цепи «вспоминаются» и (пере)осмысливаются, а какие —

Рисунок 2 Три составляющих анализа коммеморации исторического события



намеренно упускаются. Повествования такого рода сложно сравнивать целиком, поскольку их композиция индивидуальна. Однако можно выделить набор структурных характеристик, сопоставление которых позволит увидеть не только различия, но и сходства. В частности, основаниями для анализа и сравнения могут служить:

- *основная идея*, выступающая стержнем повествования и, как правило, связанная с миссией / политической программой / идентичностью соответствующего мнемонического актора;
- *сюжетная линия*;
- *элементы-события*, между которыми выстраиваются перспективные связи (то, о чем «забывают», не менее важно, чем то, о чем «вспоминают»);
- *основные действующие лица*: протагонисты / герои / делатели и антагонисты / враги / вредители; нередко подразумевается связь между действующими лицами исторических нарративов и современными *мнемоническими антагонистами* актора;
- *уроки*, которые предлагается вынести из исторического опыта.

Сопоставление соперничающих нарративов позволяет зафиксировать расхождения между ними, а также оценить степень их близости установкам различных социальных групп, выявляемым социологическими опросами.

Наконец, для понимания перспектив превращения коммеморации в «событие памяти», меняющее «устоявшиеся культурные значения»⁴⁵, необходимо проследить, каким образом конкурирующие мнемонические акторы используют и трансформируют в соответствии с собственными нарративами социально-культурную инфраструктуру памяти. Этой цели может служить анализ инициатив по ее дополнению/изменению, а также изучение семантического контекста и содержания коммеморативных церемоний и речей (место их проведения, апелляция к конкретным символам, интертекстуальные связи и т.п.).

На мой взгляд, данная методика может быть использована и при изучении политики памяти в тех недемократических режимах, где сохраняется идеологический плюрализм. Сама по себе асимметрия ресурсов (присущая и демократиям) не гарантирует, что продвигаемая властвующей элитой интерпретация события вызовет социально-культурный резонанс. Разумеется, чтобы конкурировать на «рынке смыслов», мнемонические акторы должны иметь доступ к каналам публичной коммуникации, однако вариативность таких каналов в эру интернета открывает перед ними достаточно широкий спектр возможностей.

⁴⁵ Эткнд 2016: 228.

Библиография

Ачкасов В.А. 2013. «Политика памяти» как инструмент конструирования постсоциалистических наций // *Журнал социологии и социальной антропологии*. Т. XVI. № 4 (69). С. 106—123 (http://www.jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2013_4/Achkasov_2013_4.pdf).

Ефремова В.Н. 2014. Государственные праздники как инструменты символической политики: Возможности теоретического описания // *Символическая политика. Вып. 2: Споры о прошлом как проектирование будущего*. — М.: ИНИОН РАН. С. 66—79.

Журженко Т. 2013. «Общая победа»? «Чужая война»? Национализация памяти о Второй мировой войне в украинско-российском приграничье // Пугачева М.Г., Жарков В.П. (ред.) *Пути России: Историзация социального опыта*. Т. XVIII. — М.: Новое литературное обозрение. С. 93—125.

Копосов Н.Е. 2011. *Память строгого режима: История и политика в России*. — М.: Новое литературное обозрение.

Малинова О.Ю. 2015. *Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности*. — М.: Политическая энциклопедия.

Малинова О.Ю. 2017. Неудобный юбилей: Итоги переосмысления «мифа основания» СССР в официальном историческом нарративе РФ // *Политическая наука*. № 3. С. 13—39.

Миллер А.И. 2012. Историческая политика в Восточной Европе начала XXI века // Миллер А., Липман М. (ред.) *Историческая политика в XXI веке: Сборник статей*. — М.: Новое литературное обозрение. С. 7—32.

Никжентайтис А. 2012. Модели памяти и культурных воспоминаний: Польша, Литва, Россия, Германия // *Словору: Балтийский акцент*. № 3. С. 17—32.

Эткинд А. 2016. *Кривое горе: Память о непогребенных*. — М.: Новое литературное обозрение.

Art D. 2006. *The Politics of the Nazi Past in Germany and Austria*. — Cambridge: Cambridge University Press.

Bayer M. 2015. Commemoration in Germany: Rediscovering History // *Australian Journal of Political Science*. Vol. 50. № 3. P. 553—561.

Beaumont J. 2015. Commemoration in Australia: A Memory Orgy? // *Australian Journal of Political Science*. Vol. 50. № 3. P. 536—544.

Bell D.S.A. 2003. Mythscapes: Memory, Mythology, and National Identity // *British Journal of Sociology*. Vol. 54. № 1. P. 63—81.

Bernhard M., Kubik J. (eds.) 2014. *Twenty Years after Communism: The Politics of Memory and Commemoration*. — Oxford: Oxford University Press.

Craig D. 2015. Commemoration in the United States: «The Reason for Fighting I Never Got Straight» // *Australian Journal of Political Science*. Vol. 50. № 3. P. 568—575.

Ensink T., Sauer C. (eds.) 2003. *The Art of Commemoration: Fifty Years after the Warsaw Uprising*. — Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Fathi R. French Commemoration: The Centenary Effect and the (Re)discovery of 14—18 // *Australian Journal of Political Science*. Vol. 50. № 3. P. 545—552.

Heisler M.O. 2008. The Political Currency of the Past: History, Memory, and Identity // *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 617. № 1. P. 14–24.

Hite K. 2012. *Politics and the Art of Commemoration: Memorials to Struggle in Latin America and Spain*. — L.: Routledge.

Irwin-Zarecka I. 1994. *Frames of Remembrance. The Dynamics of Collective Memory*. — New Brunswick: Transaction Publishers.

Jeffery K. 2015. Commemoration in the United Kingdom: A Multitude of Memories // *Australian Journal of Political Science*. Vol. 50. № 3. P. 562–567.

Kattago S. 2009. Agreeing to Disagree on the Legacies of Recent History: Memory, Pluralism and Europe after 1989 // *European Journal of Social Theory*. Vol. 12. № 3. P. 375–395.

Kertzer D.I. 1988. *Ritual, Politics, and Power*. — New Haven, L.: Yale University Press.

Langenbacher E. 2010. Collective Memory as a Factor in Political Culture and International Relations // Langenbacher E., Shain Y. (eds.) *Power and the Past. Collective Memory and International Relations*. — Washington: Georgetown University Press. P. 13–49.

Mälksoo M. 2009. The Memory Politics of Becoming European: The East European Subalterns and the Collective Memory of Europe // *European Journal of International Relations*. Vol. 15. № 4. P. 653–680.

Mink G., Neumayer L. (eds.) 2014. *History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe: Memory Games*. — Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Müller J.-W. 2002. Introduction: The Power of Memory, the Memory of Power and the Power over Memory // Müller J.-W. (ed.) *Memory and Power in Post-War Europe: Studies in the Presence of the Past*. — Cambridge: Cambridge University Press. P. 1–35.

Olick J.K. 2007. *The Politics of Regret. On Collective Memory and Historical Responsibility*. — N.Y., L.: Routledge.

Smith K.E. 2002. *Mythmaking in the New Russia: Politics and Memory during the Yeltsin Era*. — Ithaca, L.: Cornell University Press.

Torsti P. 2008. Why Do History Politics Matter? The Case of the Estonian Bronze Soldier // Aunesluoma J., Kettunen P. (eds.) *The Cold War and Politics of History*. — Helsinki: Edita Publishing. P. 19–35.

Wertsch J.V. 2008. Blank Spots in Collective Memory: A Case Study of Russia // *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 617. № 1. P. 58–71.

Wodak R., Cillia R. de. 2007. Commemorating the Past: the Discursive Construction of Official Narratives about «Rebirth of Second Austrian Republic» // *Discourse & Communication*. Vol. 1. № 3. P. 337–363.

References

- Achkasov** V.A. 2013. «Politika pamiati» kak instrument konstruirovaniya postsotsialisticheskikh narsij // *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noi antropologii*. Vol. XVI. № 4 (69). S. 106—123 (http://www.jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2013_4/Achkasov_2013_4.pdf).
- Art** D. 2006. *The Politics of the Nazi Past in Germany and Austria*. — Cambridge: Cambridge University Press.
- Bayer** M. 2015. Commemoration in Germany: Rediscovering History // *Australian Journal of Political Science*. Vol. 50. № 3. P. 553—561.
- Beaumont** J. 2015. Commemoration in Australia: A Memory Orgy? // *Australian Journal of Political Science*. Vol. 50. № 3. P. 536—544.
- Bell** D.S.A. 2003. Mythscapes: Memory, Mythology, and National Identity // *British Journal of Sociology*. Vol. 54. № 1. P. 63—81.
- Bernhard** M., Kubik J. (eds.) 2014. *Twenty Years after Communism: The Politics of Memory and Commemoration*. — Oxford: Oxford University Press.
- Craig** D. 2015. Commemoration in the United States: «The Reason for Fighting I Never Got Straight» // *Australian Journal of Political Science*. Vol. 50. № 3. P. 568—575.
- Efremova** V.N. 2014. Gosudarstvennye prazdniki kak instrumenty simvolicheskoi politiki: Vozmozhnosti teoreticheskogo opisanija // *Simvolicheskaja politika. Vyp. 2: Spory o proshlom kak proektirovanie buduschego*. — M.: INION RAN. S. 66—79.
- Ensink** T., Sauer C. (eds.) 2003. *The Art of Commemoration: Fifty Years after the Warsaw Uprising*. — Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Etkind** A. 2016. *Krovoie gore: Pamait' o nepogrebehhykh*. — M.: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Fathi** R. French Commemoration: The Centenary Effect and the (Re)discovery of 14—18 // *Australian Journal of Political Science*. Vol. 50. № 3. P. 545—552.
- Heisler** M.O. 2008. The Political Currency of the Past: History, Memory, and Identity // *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 617. № 1. P. 14—24.
- Hite** K. 2012. *Politics and the Art of Commemoration: Memorials to Struggle in Latin America and Spain*. — L.: Routledge.
- Irwin-Zarecka** I. 1994. *Frames of Remembrance. The Dynamics of Collective Memory*. — New Brunswick: Transaction Publishers.
- Jeffery** K. 2015. Commemoration in the United Kingdom: A Multitude of Memories // *Australian Journal of Political Science*. Vol. 50. № 3. P. 562—567.
- Kattago** S. 2009. Agreeing to Disagree on the Legacies of Recent History: Memory, Pluralism and Europe after 1989 // *European Journal of Social Theory*. Vol. 12. № 3. P. 375—395.
- Kertzer** D.I. 1988. *Ritual, Politics, and Power*. — New Haven, L.: Yale University Press.

Koposov N.E. 2011. *Patiat' strogogo rezhima. Istorija i politika v Rossii*. — M.: Novoe literaturnoe obozrenie.

Langenbacher E. 2010. Collective Memory as a Factor in Political Culture and International Relations // Langenbacher E., Shain Y. (eds.) *Power and the Past. Collective Memory and International Relations*. — Washington: Georgetown University Press. P. 13—49.

Malinova O. 2015. *Aktual'noe proshloe: Simvolicheskaja politika vlastvujuschei elity i dilemmy rossijskoj identichnosti*. — M.: Politicheskaja enciklopedija.

Malinova O. 2017. Neudobnyj jubilej: Itogi pereosmyslenija «mifa osnovanija» SSSR v ofitsial'nom istoricheskom narrative RF // *Politicheskaja nauka*. № 3. S. 13—39.

Mälksoo M. 2009. The Memory Politics of Becoming European: The East European Subalterns and the Collective Memory of Europe // *European Journal of International Relations*. Vol. 15. № 4. P. 653—680.

Miller A. 2012. Istoricheskaja politika v Vostochnoi Evrope nachala XXI veka // Miller A., Lipman M. (eds.) *Istoricheskaja politika v XXI veke: Sbornik statej*. — M.: Novoe literaturnoe obozrenie. S. 7—32.

Mink G., Neumayer L. (eds.) 2014. *History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe: Memory Games*. — Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Müller J.-W. 2002. Introduction: The Power of Memory, the Memory of Power and the Power over Memory // Müller J.-W. (ed.) *Memory and Power in Post-War Europe: Studies in the Presence of the Past*. — Cambridge: Cambridge University Press. P. 1—35.

Nikžentaitis A. 2012. Modeli pamjati i kul'turnykh vospominanij: Pol'sha, Litva, Rossija, Germanija // *Slovo.ru: Baltijskij aktsent*. № 3. S. 17—32.

Olick J.K. 2007. *The Politics of Regret. On Collective Memory and Historical Responsibility*. — N.Y., L.: Routledge.

Smith K.E. 2002. *Mythmaking in the New Russia: Politics and Memory during the Yeltsin Era*. — Ithaca, L.: Cornell University Press.

Torsti P. 2008. Why Do History Politics Matter? The Case of the Estonian Bronze Soldier // Aunesluoma J., Kettunen P. (eds.) *The Cold War and Politics of History*. — Helsinki: Edita Publishing. P. 19—35.

Wertsch J.V. 2008. Blank Spots in Collective Memory: A Case Study of Russia // *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 617. № 1. P. 58—71.

Wodak R., Cillia R. de. 2007. Commemorating the Past: the Discursive Construction of Official Narratives about «Rebirth of Second Austrian Republic» // *Discourse & Communication*. Vol. 1. № 3. P. 337—363.

Zhurzenko T. 2013. «Obschaia pobeda»? «Chuzhaia vojna»? Natsionalizatsija pamiati j Vtoroi miroboi vojne v ukrainsko-rossijskom prigranichie // Pugacheva M.G., Zharkov V.P. (eds.) *Puti Rossii: Istorizatsija sotsial'nogo opyta*. Vol. XVIII. — M.: Novoe literaturnoe obozrenie. S. 93—125.